

ЗЕРКАЛЬЦЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Независимая газета - 1993 - 3 февр. - С. 5.

В. Кардин

Полемика

Я В ГОРАЗДО более невыгодном положении, чем Толстой, не только по мере таланта. Но и потому, что он описывал Наполеона в Москве, когда его уже не было, а мой герой жив, и история еще не сказала о них своего последнего слова, как и они не сказали его в истории Е. Евтушенко.

Признав, что по таланту он уступает Толстому, Е. Евтушенко избавил меня от необходимости дебатировать щекотливую проблему. Беру на себя смелость предположить: она не возникла и перед редакторами четырех широко читаемых изданий, поспешно напечатанных отрывки из романа Е. Евтушенко «Не умирай прежде смерти». Этот зал демократического крыла нашей прессы гораздо интереснее, примечательнее самого романа. Не оборачивается ли неожиданными выгодами «невыгодное положение» писателя?

Ежемесячник «Совершенно секретно», публикуя отрывки, дал понять: в романе не упущена ни одна из тем, так или иначе привлекающих сегодня живое внимание. «Книга написана сразу в трех жанрах: любовной исповеди, политического детектива и исторического романа... Действие романа свободно кочует из постели, где двое любят друг друга, забыв обо всем остальном мире, то на футбольное поле, то в кабинет КГБ, то в Форос, то на подмосковную дачу Ельцина».

Пригласив читателя в свою творческую лабораторию, Е. Евтушенко дает кое-какие пояснения: «В августе 1991 года... роман снова начал писать сам себя, и в нем неожиданно для меня возникли реальные исторические персонажи» («Литературная газета»). На страницах «Огонька» уточняется место чудесного рождения романа. Случилось это, как и следовало ожидать, на баррикадах вокруг Белого дома. Тут-то «повесть сама выросла во мне, обновилась, преобразилась, расширилась...».

На самоустранении настаивают писатели как раз тогда, когда созданное ими более всего поражает деловитой рассудочностью, прагматизмом. А Вознесенский, в отличие от Е. Евтушенко, ориентирующийся на элиту, посвящает нас в полуночную тайну рождения одной из его видеом: «Этим маем во время моей краткой поездки в Нью-Йорк владелица отеля «Челси» загадочный Стенли, видимо, в поощрение за опубликованные в тот же день в «Нью-Йорк таймс» мои трагические стихи, поместил меня в знаменитый номер 822, который славен скульптурным каминном из белого мрамора с медной инкрустацией. Там ровно в полночь и явилось мне видение Ивана Баркова».

Иван Барков, умерший за три десятилетия до рождения Пушкина, неспроста перелетает океан и навевается к видеомонитору, настраивая его на «патриархальное и целомудренное порно». Создавая монументальный образ, А. Вознесенский объездил уйму антикварных лавок, секс-шопов и нашелтаки «симметричное бледное подобие призрака», то бишь два полшария, сходные с ягодицами.

Они и составили центр видеомы, вернее — бумажка, воткнутая в «грешную дыру», как говорил Пушкин. Бумажка напоминает о записке с предсмертной строкой Баркова: «Жил грешно и умираю смешно». (Он покончил с собой, сунув голову в камин и выставив обнаженный зад с фразой, воспроизведенной теперь сусальным золотом на беломраморном гостиничном камине в Нью-Йорке. Мечтал ли бедняга о такой посмертной славе?)

Бурный выброс видеом («Литгазета», «Независимая газета», «Огонек», отдельное издание с шумной презентацией) почти совпал по времени с широкой публикацией отрывков из романа Евтушенко. Забавны совпадения наших далеко не забавных дней...

Казалось бы, что общего между «элитарными» изделиями А. Вознесенского и подкупающе «простонародной» прозой Е. Евтушенко, где, например, тамада «похож на неостановимо снующий сперматозоид с длинным лукавым носом»? Каждый из двух авторов, не меняя амплуа, словно бы откликается на зов момента, зов рынка. Вознесенский козыряет громкими именами зарубежных поклонников его таланта. Евтушенко рассказывает об известной поэтессе — своей первой жене, не забывая сообщить об аборте, о клопах, ползавших по ее «рубенсовскому телу». Главу о своей второй жене Е. Евтушенко обдумано-интригующе называет: «Аксиинья, родившаяся еврейкой». В пору государственного антисемитизма поэт поплакался за «Бабий Яр». Но никто, вероятно, не умел так ловко использовать официальное недовольство, как он, оборачивая безобидные шепелки, полученные на родине, в триумф за ее пределами.

Евтушенко вошел в литературу при жизни Ахматовой и Пастернака, продолжал при Бродском. Но для Запада, для Америки советскую поэзию олицетворял прежде всего он. Слышали, разумеется, и про Ахматову, Пастернака, Бродского. Видели в них жертвы беспощадного режима. Но Евтушенко нарушал это представление. Он позволял себе умеренное свободомыслие, поддерживал диссидентов, не без оснований слыл фрондером и — развезжал по всему свету, возвращаясь с чемоданами запрещенной литературы.

Евтушенко, подобно всем нам, печатавшимся в хрущевские и брежневские времена, вступил в союз с государством. «Нам» — это ясно видевшим злодеяния режима, лидеров карательных структур, но не сознававшим изначальной преступности не только режима, но и его идеологии. Сейчас хватает крепких задним умом. Хватает и горластых молодых, пришедших на голубенькое. А готовили, расчищая все-таки предшественники — со своими ограниченными представлениями, со своими иллюзиями.

Не в оправдание, но в объяснение напомню: «дружить» с системой, найти с ней общий язык пытались и Мандельштам, и Цветаева, и Булгаков, и Пастернак. Но у них не вышло. У нас — вышло. Вот мы и хлещем. Не только поэтому, но и поэтому же...

Включив в понятие «мы» Евтушенко с Вознесенским, желательнее сделать уточнение. Они заключали сделку на особых условиях, пользовавшихся популярностью внутри страны конвертировать на международных торгах. Своего рода иде-



Е. Евтушенко

ологические нефтедоллары.

Они относились к советской власти, как Остап Бендер к уголовному кодексу, и, переступив черту, незамедлительно платили штраф. Смишлом легкий хлеб — бичевать их сейчас за «Братскую ГЭС» или «Лонжюмо». Важнее уяснить себе: любой из нас, вольных или невольных участников игры, лишен права строить из себя невинную девицу.

Мое уподобление хромает (как и всякое, впрочем). Но не отказываюсь от него: Евтушенко — это Симонов сегодня. При всех оговорках, при индивидуально-биографических и писательских различиях. А Константин Симонов — что убийственно подтверждают его исповедальные записки «Глазами человека своего поколения» — это приспособленчество, возведенное в ранг государственной и творческой необходимости. Неотступная потребность быть любимцем власти и кумиром публики. (Для Симонова все-таки важнее власть, для Евтушенко — публика; все определяется погодой на дворе.) Симонов вникает в каждую реплику Сталина, ища сокровенный смысл, надеясь руководствоваться им во всем, что делает и пишет, жертвуя талантом, подчас — порядочностью.

Евтушенко, исповедуясь, вспоминает любовные похождения, а не статью Свободы, над которой когда-то потешался и под сенью которой предпочитает жить сегодня. Однако он также крайне интересуется высшими сферами и делает своими героями высших лиц государства.

Мемуары — жанр коварный. Авторы силошь и рядом рисуют собственный портрет, различая не совпадающий с тем, какой стремились создать. Это касается не только Евтушенко и Симонова. Но у Евтушенко он приобретает гротескный характер. Вряд ли ему хотелось выглядеть по-нумеристически тщеславным, оборотистым благуейстером. Но и «Волгу»-то получает не как прочие — в магазине, а прямо на автозаводе.

Легкая скандальность исповеди, налет балаганности в глазах «исторического романа» не просто литературный стиль, но в какой-то мере и стиль нынешней общественной жизни. Е. Евтушенко —

доказательство ограбления государством доверчивых вкладчиков.

Новые власти как бы распределили обязанности, выполняя стародавний завет о хлебе и зрелищах. Законодатели обеспечивают зрелищами. Заседания парламента, съезд депутатов напоминают телевизионный фильм — многосерийный и малохудожественный, вызывающий то смех, то слезы. Исполнительная власть пытается, правда пока что неудачно, с постоянными ошибками, обеспечить хлебом. Некоторое, далеко не полное, разумеется, представление об этих попытках, о людях, их принимающих, дают два примера, которые имеют отношение к литературе и к предмету нашего разговора.

Послеавгустовским министром иностранных дел доживающего свой век Союза стал исследователь творчества и биограф Константина Симонова, Министром культуры России — автор книги о Евгении Евтушенко. Оба литератора — из той ветви «шестидесятников», которая не отделяла себя от государственной власти, предполагала улучшить ее своей служебной деятельностью и кое-что по мелочам иногда добивалась, попадая в опалу, подвергаясь нападкам. Так что элемент случайности в новых назначениях не настолько велик, чтобы отменить закономерность.

Мое уподобление хромает (как и всякое, впрочем). Но не отказываюсь от него: Евтушенко — это Симонов сегодня. При всех оговорках, при индивидуально-биографических и писательских различиях. А Константин Симонов — что убийственно подтверждают его исповедальные записки «Глазами человека своего поколения» — это приспособленчество, возведенное в ранг государственной и творческой необходимости. Неотступная потребность быть любимцем власти и кумиром публики. (Для Симонова все-таки важнее власть, для Евтушенко — публика; все определяется погодой на дворе.) Симонов вникает в каждую реплику Сталина, ища сокровенный смысл, надеясь руководствоваться им во всем, что делает и пишет, жертвуя талантом, подчас — порядочностью.

Евтушенко, исповедуясь, вспоминает любовные похождения, а не статью Свободы, над которой когда-то потешался и под сенью которой предпочитает жить сегодня. Однако он также крайне интересуется высшими сферами и делает своими героями высших лиц государства.

Мемуары — жанр коварный. Авторы силошь и рядом рисуют собственный портрет, различая не совпадающий с тем, какой стремились создать. Это касается не только Евтушенко и Симонова. Но у Евтушенко он приобретает гротескный характер. Вряд ли ему хотелось выглядеть по-нумеристически тщеславным, оборотистым благуейстером. Но и «Волгу»-то получает не как прочие — в магазине, а прямо на автозаводе.

Легкая скандальность исповеди, налет балаганности в глазах «исторического романа» не просто литературный стиль, но в какой-то мере и стиль нынешней общественной жизни. Е. Евтушенко —

следует отдать ему должное — попал если не в жилу, то в жилку. Чем тоже покорила редакторов и приманила читателей.

При таком стиле демократичности автора — нечто само собой разумеющееся. Он барственно близок народу, сочувствует ему, не гнушается физического труда: «На берегу Черного моря в Гульриппе я строил свой единственный в жизни собственный дом из розового тхварчельского туфа, где своими руками и она (третья жена поэта. — В.К.) и я под руководством моего соседа Бичико нежно вкапывали в землю хрупкие мандариновые и апельсиновые саженцы, где она, смахивая бриллиантики пота со своего вздернутого носика рабочей перчаткой, которую навсквозь протерла садовая лопата, шепнула, обдав меня фиалковым всплеском своих лукавых глаз...»

Я бы не упоминал обо всем этом, если бы черты, явственно выступающие в облике, творчестве и поведении Евтушенко, не совпадали с чертами новой номенклатуры, бросившейся в объятия старой.

Чего больше — благоглупости или коварства в демонстративном отказе от вопроса: чем вы занимаетесь до 1985-го (до августа 91-го)?

Не надо подозревать во мне охотника за ведьмами, сторонника мщения и расправ. Необходимо было — в том состоял прямой долг демократической общественности — наладить новые нравственные отношения. Не велик подвиг — отречься от обанкротившейся политики. Куда труднее перерезать пуповину, создать этические правила, при которых, скажем, журналист, строчивший подленькие корреспонденции с процесса Сняевского и Даниэля, не осмелится сегодня публично рассуждать о правовом сознании и поучать Конституционный суд. Когда хрипловатый басок телерепортера, некогда славившего афганскую бойню, не будет привычно звучать из «ящика», теперь изобличая эту бойню, проливая крокодиловы слезы.

Демократия слабо выдержала моральный экзамен. С ней связано немало достойных имен, во имя ее совершено немало достойных поступков. Но в час испытаний она не дала России подвижника. Не стала препоной для мутного потока. Сколько прощелья всплыло на его волне, уповая на вселенскую неразбериху и короткую память современников!

Ставка на беспамятство оборачивается новыми попытками всех обогорить и проскочить дуриком, как умел незабвенный Иван Александрович Хлестаков, персонаж, рожденный не только Евгением Александровичем Евтушенко. Литературный критик прилюдно жонглирует, что с молодых ногтей мечтал распространять христианскую культуру, надеясь, что никто уже не помнит, сколь яростно он некогда противился малейшему отклонению от догм марксистской эстетики. Напомни ему, он осенит себя крестным знаменем: изыди, сатана! Развешивайте уши, сейчас будут вешать лапу — давать интервью, выступать по телевидению, вспоминая о собственной доблести, своей репутации камикэде, незапятнанной биографии, о незавер-



А. Вознесенский

Фото Дмитрия Борко (НГ-фото)

шенных фундаментальных трудах, о достославных литературных битвах. Эдакий коктейль из полуправды и самодовольной лжи! Фанфаронство достигает угрожающего размаха. Популярный кинорежиссер, попутно сочиняющий стихи, несет с экрана: ему без разницы — фашизм или демократия, лишь бы остаться самим собой. Интересно, однако: ежели дойдет до нового ГУЛАГа, на лесоповале он сохранит творческую самобытность?

Литературная жизнь, уподобившаяся ярмарке уцененного тщеславия, не сбила Евтушенко с панталыку. Исчез привычный союзник-противник — советская власть? Не с кем вести игру, приносящую дивиденды? Не беда. Он выбросил на книжные прилавки товар, сбыт которого гарантирован. Напишет о своих женах и разводах, набросает портреты Горбачева и Ельцина. За ним не заржавеет.

Евтушенко не боится скандала, он кушает в нем, как в бассейне, свеженьким поднимаясь на берег. О чем, кстати, не подумали заединчики, дикарски сжигая чучело Евтушенко у памятника Льву Толстому. Что до самих заединчиков, то их собственное интеллектуальное убожество, недомыслие — этот, казалось бы, признак слабости — оборачивается силой, заставляя апеллировать к стадным чувствам и таким манером получая надежную поддержку. Вождям и фюрерам всех времен и некоторых народов хорошо знакомы такие способы. Известны они и кое-каким нынешним лидерам. Одни из них специализируются на «работе с массами», превращая эти массы в обезумевшую толпу, другие с высокой трибуны шутовскими репризами, байками сноровисто превращают высокое собрание в такую же толпу.

Скандал, низкопробная сенсация уверенно входят в общественный и литературный обиход. Роль сигнальщика-обличителя не сказано выигрышна в смутные

времена. В этом смысле не вижу большой разницы между авторами статьи об «агентах влияния», или об андерграунде, или о месте литературной критики (в лакейской, естественно). Желтизна скрадывает оттенки, запах жареного глушит прочие ароматы. Подобные статьи примечательны прежде всего как симптомы нравственного падения.

Сегодня скандалы — локомотивы литературного процесса». Каковы локомотивы — таков и «процесс».

Не Евтушенко родоначальник жабра эпатажа — этого ровесника второй древнейшей профессии. Однако сжигавшие чучело профанировали, опозаили дорогую ему идею. Психологически объяснимо: зависть графоманов к удачливому автору. Но омерзительный эпизод пробудил невольные симпатии к нему, вызвавшему зоологическую ненависть литературной шпаны. И, несомненно, благоприятствовал засылке в набор отрывков из нового романа.

Евтушенко взирает на литераторов-заединчиков с вполне оправданным презрением. Пародия на их сочинения — луч света в туманном мареве евтушенковского романа. Искренне жаль, что многие его странички напоминают автопародию — все эти «фиалковые всплески лукавых глаз».

Псевдодемократия благоприятствует псевдоискусству, ложным кумирам. Благоприятствовал этому и тоталитаризм. Но иначе — художники «назначались», их творения на правах «памятников культуры» охранялись законом. В наши дни — любой ценой потрафь публике.

Не верю, что в нынешней обстановке могут создаваться эпические полотна, особенно о современности. Не вижу ни одного серьезного прозаика, который попытался бы взяться за такое. А Евтушенко попытается. Не столько творческая дерзость, сколько расчётливость игрока.

Имитируя реалистическое творчество, Евтушенко преподносит общезвестное как «гипотетическое». Иными словами, рожденное писательским воображением. Ничего сногшибательного в том нет. Толстой так писал Наполеона и Кутузова, Евгений Евтушенко пишет Горбачева и Ельцина.

Писатель вправе устанавливать законы собственного повествования. Евтушенко определяет жанр своего нового романа как «русскую сказку».

Но русская сказка исполнена поэзии и непредвиденных, однако правомерных чудес. Роман «Не умирай прежде смерти» — анти-сказка. Компьютерно вычисленные ходы, вместо чудес — жалкие трюки.

Ни для кого не секрет: президент России — заядлый теннисист. Не секрет и то, что в его окружении есть и честные люди, и сомнительные. Эти общедоступные сведения подвергнутся весьма убогой литературной обработке. В теннисные партнеры к президенту набивается субъект, чья сомнительность очевидна с момента его появления. Чего ждать от человека «с государственно озабоченным мальчишковым лицом лилипута-переростка, отутюженным вместе с комсомольскими морщинами так, будто только что из химчистки»? Эпитет «отутюженный» представляется автору ценной находкой, он не в силах с ним расстаться: «Партнер

с закодированным пробормом оказался отутюженным даже на корте. Складка на беленьких шортах с зеленым крокодилчиком на боку была безукоризненной, как проборм...» Проходимец в роли советника реального президента — беда для народа и не повод для прощупывания, дурацкий экзерсисов.

Удручает перепад между драматизмом исходных фактов и легко-весностью манеры их воспроизведения. Перед нами не завораживающая простота сказки, а примитив, идущий от художнической беспомощности, катастрофического отсутствия вкуса. Ради успокоения читателей Евтушенко отмечает внутреннюю неприязнь Ельцина к отутюженному крокодилчику и, наоборот, симпатию к честнейшему следователю Пальчикову.

В решающие минуты президента посещают видения. Не менее парадоксальные, чем видения Вознесенского в нью-йоркской гостинице. Перед ним вырастает гранитная приступочка крыльца Дома Ипатьевых, чудом уцелевшая, несмотря на уничтожение самого дома в то время, когда нынешний президент был секретарем Свердловского обкома. Евг. Евтушенко изменил бы себе, отразился от темы, какой пренебрегает сегодня только самый ленивый, — темы расправы над царской семьей. Ему нечего добавлять к общеизвестному. Остается напустить мистического тумана. В этом тумане, допояняя и уравновешивая приступочку, утром 19 августа президент слышит голос... Правильно — академика Сахарова.

Безотчетная подоснова творческого акта объясняет и видения, и голоса, и прочую чертовщину, несколько странную в «историческом романе», созданном «туристом секса», как застенчиво аттестует себя автор.

С одной стороны — проще куда, а с другой — простота, которая хуже воровства. Романист, понятное дело, знаком с модными литературными веяниями, популярными литературоведческими теориями. Но все доводится до комической нелепицы. Бахтинский полифонизм являет себя в двух (или трех) началах, ведущих постоянный диспут внутри героя. В Ельцине уживаются, вступая в полемику, Партийный Губернатор и уральский Оголец из Барака. В Горбачеве — легко догадаться — уже не внутренний диалог, а трио: Крестынский Сын, Оккупированный Пацан и, наконец, Восходящий Аппаратчик. Вполне вероятно, что в не опубликованных покуда главах ельцинский дуэт превратится в трио, горбачевское трио — в квартет. Не исключено приходе Чудесного Горца (он же Обладатель Брежневской Квартиры): новый персонаж, возможно, нарушит благостно-беззаботное течение «самозаводившегося» шедевра.

Автор предупредил: ни герои романа, ни история еще не сказали своего последнего слова, и было бы несправедливо корить его за нетерпение, поспешность. Но хотелось бы понять, какова природа этой поспешности, весьма характерной торопливости.

Евгений Евтушенко, конечно, не зеркало новой русской революции. Лишь зеркальце, но и в нем кое-что отражается...